

*М и х а и л М о с к а л е в***О П И С А Н И Е   К О М Н А Т Ь И   Д Ю П О Н А**

Говорить, собственно, нужно о нескольких описаниях комнаты А. Дюпона, составленных разными людьми в разные периоды его жизни. Вряд ли они могут дать нам объективное представление о комнате (во всех описаниях, вследствие различия характеров и пристрастий их составителей, в обзор попадают отдельные, порой не имеющие никакого значения фрагменты комнаты), однако даже поверхностный и не совсем беспристрастный взгляд, возможно, несколько облегчит работу будущим исследователям этого важного объекта.

Первое описание комнаты А. Дюпона было сделано сразу же после ее создания, за несколько лет до рождения А. Дюпона. Основная часть описания принадлежит некому служащему, который присутствовал или даже принимал непосредственное участие в этом деле. Совершенно случайно документ был найден среди бумаг его дочери, любившей А. Дюпона и не побоявшейся выкрасть описание из канцелярского архива, в котором, согласно правилам, оно должно было храниться двадцать пять лет, после чего, по распоряжению заведующего архивом, сжигалось в печи, устроенной специально для этих нужд. Листок лежал точно между письмом дочери служащего А. Дюпону с просьбой прислать ей мемуары одного вельможи восемнадцатого века и его ответом, в котором он жаловался на сильные головные боли.

Описание было составлено, очевидно, не самим служащим, а записано под диктовку его помощником, занявшим позднее место своего патрона и, в конце концов, женившимся на его дочери. (Разница между помощником и дочерью служащего в момент женитьбы, по утверждению одного исследователя, составляла двадцать три с половиной года). Для описания использовались бланки старого образца, в которых, в отличие от современных бланков, отсутствовало несколько пунктов, предназначенных для заполнения врачом и мебельщиком. (Напомним, что эти должности в канцелярии появились относительно недавно, через три года после смерти А. Дю-

пона). Зато есть несколько строк, написанных главным нумизматом и вторым заместителем проектировщика, что делает это описание интересным не только с биографической, но и с общеисторической точки зрения.

Однако вернемся непосредственно к самому описанию, вернее, к той его части, которая предположительно была записана помощником служащего под диктовку последнего. Помимо нескольких неразборчивых строчек, относящихся к той части комнаты, где А. Дюпон устроил позже что-то вроде библиотеки (об описании, составленном другом А. Дюпона, в котором довольно много места уделено этой, так сказать, библиотеке будет сказано чуть ниже), так вот, помимо этих нескольких строчек, все остальное поддается прочтению, а это значит, что мы сможем более или менее подробно узнать о тех условиях проживания, в которые первоначально был помещен А. Дюпон и, сравнив их с последним описанием, увидеть, каким образом они изменились за двадцать пять лет жизни А. Дюпона. (Надо сказать, что за первые десять лет существования комнаты она почти не менялась и что описание, относящееся к седьмому году жизни А. Дюпона, в котором, в частности, говорится о кардинальной перемене ее внутреннего вида, не что иное, как искусная фальсификация, принадлежащая, по всей видимости, дочке служащего, которая в то время оканчивала начальную школу и уже изрядно умела писать. То же самое можно сказать и о восьмом описании, относящемся к семнадцатому, одному из самых продуктивных в жизни А. Дюпона, году. Оно принадлежит, как можно выяснить, проделав сравнительную экспертизу почерков в нем и в первом описании, руке помощника служащего, написанного, правда, уже самостоятельно, а не под диктовку последнего. В этом описании утверждается, что за семнадцатилетнее пребывание А. Дюпона в комнате она несколько не изменилось оттого, что большей частью он пребывал в комнате дочери служащего).

Еще одна деталь, на которую стоит, как нам кажется, обратить внимание: основная часть описания предваряется краткой пометкой главного проектировщика комнаты, в которой говорится о том, что комната сделана по специальному заказу второго архива канцелярии, пожелавшего внести в ее планировку некоторые конструктивные особенности. Так, например, именно благодаря им площадь стены в комнате А. Дюпона за счет невероятно высоких потолков в

два раза превосходила площадь пола, (обстоятельство, благодаря которому А. Дюпон не раз бледнел и терял сознание), оконный проем был в три раза меньше дверного, а посреди комнаты возвышалась совершенно ненужная колонна. Проектировщик говорил, что такое устройство комнаты может стать причиной некоторых отклонений в развитии А. Дюпона с одной стороны, а с другой — вызвать появление творческих наклонностей. В пометке также говорилось, что главный архитектор снимает с себя всякую ответственность за возможное негативное влияние планировки комнаты на психику А. Дюпона. (Несмотря на эту запись, проект был одобрен вышестоящими инстанциями, что говорит о более полной их осведомленности дальнейшей судьбой А. Дюпона).

Следующая после пометки главного архитектора основная часть начинается с описания цветовой гаммы в комнате А. Дюпона. В частности, говорится о преобладании желтого (в желтый цвет в комнате были выкрашены стены) и белого (соответственно потолок) цветов. Странным образом ничего не упоминается о красном цвете, в который был выкрашен пол и небольшом количестве зеленого цвета, в который были покрашены батареи и стенные шкафы. Из более поздних описаний нам стало известно, что А. Дюпон неоднократно менял окраску своей комнаты. Первый раз это произошло, когда Дюпону исполнилось девять лет, и он от счастья кинулся в стену чернильницей. Присутствовавший при этом начальник канцелярии счел образовавшееся на стене пятно довольно неприличным и специальным распоряжением повелел маляру из пятсот двадцать пятого отдела закрасить стену синим цветом. Вторая покраска комнаты произошла на пятнадцатом году жизни Дюпона и была связана с появившимся у него чувством цвета. Собственно к этому же году относится еще по крайней мере десять попыток придать комнате более или менее приличный окрас. За этот год комната успела побывать красной, оранжевой, зеленой, черной, опять красной, белой, фиолетовой, розовой и, в конце концов, осталась синей. Все дальнейшие перекраски комнаты не были столь радикальными. А. Дюпон остановился на синем цвете и только изредка перекрашивал комнату в оттенки синего: темно-синий, светло-синий или голубой. Кроме того, если в первые десять раз Дюпон закрашивал всю комнату (потолок, стены, пол, стенные шкафы, батареи) одним цветом, то в более поздние годы использовал разные краски. (Так, когда Дю-

пону было двадцать лет, потолок и две стены в его комнате были бирюзовые, еще одна стена и часть пола — темно-синие, четвертая стена, левая дверца стенного шкафа и вторая часть пола — голубые, правая дверца стенного шкафа и батарея — цвета морской волны). Последний раз Дюпон перекрашивал комнату в двадцать пять лет, за несколько месяцев до своей смерти. На этот раз для этого дела был избран красный цвет. Очевидно, выбор был связан с душевным расстройством, хотя существуют некоторые факты, позволяющие думать о политическом подтексте такой покраски (в пользу последнего говорят записки, сделанные Дюпоном в дневнике накануне его смерти). Из личных бумаг, найденных во втором ящике стола известно, что у Дюпона было еще много планов по окрашиванию комнаты, которые, к сожалению, так и не были осуществлены.

В пятом описании рассказывается о виде, вернее о видах, которые открывались из окна Дюпона. По распоряжению администрации, они менялись каждый год: сначала это была парковая аллея, потом кирпичное красное здание, затем развалины этого здания, фонтан, обрыв, поле, городская улица, сельская дорога, кладбище, аэродром, пожарная башня и др. Обычно перемена происходила за одну ночь, пока Дюпон спал. Это случалось 22-23 апреля. Впрочем, из служебных записок главного устроителя ландшафтов мы узнаем, что на пятом и четырнадцатом году жизни Дюпона на перемену вида было затрачено несколько дней, из-за чего Дюпона пришлось срочно переводить в 235 комнату. Это произошло при постройке огромной статуи А. Дюпона (тогда во время не был подвезен цемент) и при посадке фруктового сада (цветы на нескольких яблонях завяли). По специальной статье в распорядке проживания в комнате, если А. Дюпону не нравился вид, он мог забить свое окно досками и весь год жить при свете лампы. На следующий год он отрывал доски, чтобы посмотреть, что администрация придумала на этот раз. Если вид ему не нравился, Дюпон снова забивал окно и еще один год жил при искусственном освещении. Так произошло на двадцатом, двадцать первом и двадцать втором году жизни А. Дюпона, когда несколько лет он прожил без вида из окна.

Что касается библиотеки, уже упоминавшейся в связи с описанием, составленным одним из друзей, то на момент поселения в комнату А. Дюпона в ней не было ни одной книги. Они стали появляться примерно с восьми лет, когда А. Дюпон хорошо научил-

ся писать. Каждый день с наступлением этого возраста Дюпона заставляли придумывать по одному листу прозы. После того, как количество листов достигало трехсот, т.е. примерно раз в год, их собирали вместе, перепечатаывали на машинке, делали переплет и ставили в книжный шкаф. Начиная с шестнадцати лет, А. Дюпон писал по несколько листов в день уже по собственному желанию и таким образом за двадцать пять лет своей жизни успел написать двадцать с половиной романов. Последний роман обрывался на сто тридцать пятой странице предложением «Пятна света и тени, в другое время надежно разграниченные замысловато изогнутыми линиями, препятствовавшими их соприкосновению, смешивались, образуя редкий для наших широт полумрак, с приходом которого едва различимые шорохи вечерних цветов, медленно, но верно распускаявшихся в оранжереях и цветниках, становились все громче и отчетливее, порой почти переходя в бормотание». Первые романы А. Дюпона вряд ли представляют собой какую-либо ценность и интересны только специалистам, занимающимся его творчеством. Это несвязанные между собой, часто незаконченные истории, которые машинистка выделяла в отдельные главы. В первом романе — триста восемьдесят девять глав и столько же историй. С тринадцати лет романы А. Дюпона становятся все более связными и содержательными. А. Дюпон начинает писать о любви, несправедливом устройстве мира, обществе, войне и других вещах. (Примерно к этому же времени, по свидетельству некоторых биографов, относятся первая любовная связь А. Дюпона). С семнадцатого романа («Черное небо») в творчестве А. Дюпона начинают появляться ярко выраженные философические мотивы. Деятнадцатый роман («17 вечеров») считается самым неудачным романом А. Дюпона. В двадцать три года у А. Дюпона начинается творческий кризис. Он совершенно перестает писать (благо с двадцати лет писание прозы перестает быть принудительным) и все больше времени уделяет собиранию опавших листьев. А. Дюпон является также автором нескольких социологических и антропологических исследований, навеянных, очевидно, сочинением одного химика девятнадцатого века, единственной книги в библиотеке А. Дюпона, автором которой он не является. Многочисленные записи на полях книг показывают, что А. Дюпон часто перечитывал свои произведения и нередко правил казавшиеся ему слабыми места.

И наконец, последнее описание комнаты было составлено комиссаром полиции, появившимся там через несколько часов после смерти А. Дюпона. В описании содержатся сведения, касающиеся только одного предмета в комнате — тела А. Дюпона.

Тело А. Дюпона было обнаружено на следующий день после очередной смены вида из окна, т.е. утром 23 апреля. По всем признакам смерть наступила (к немалому удивлению довольно старого и опытного патологоанатома) от нервного истощения и умственного перенапряжения. По мнению одного из близких А. Дюпона, причиной смерти мог стать также вышеупомянутый творческий кризис. Дочь служащего утверждала, что Дюпон был убит ее мужем, ревновавшим ее к Дюпону. Муж дочери служащего, под началом которого он начинал свою карьеру, полностью подтверждал слова своей супруги, однако говорил, что убийца не он, а маляр из пятьсот двадцать пятого отдела, который когда-то закрашивал чернильное пятно в комнате девятилетнего А. Дюпона. Маляр также полностью соглашался со словами помощника служащего, однако утверждал, что он не из пятьсот двадцать пятого отдела. В пятьсот двадцать пятом отделе подтвердили слова маляра, однако заметили, что в их компетенцию не входит закрашивание чернильных пятен на стенах.

Так или иначе, комиссар зафиксировал смерть А. Дюпона 23 апреля в 10 часов 16 минут 52 секунды по зимнему времени. По положению тела, разбросанным повсюду смятым бумагам, чернилам на губах и правом локте, клоку волос в углу комнаты и двум разорванным книжкам (его романам «Страх» и «Евсания») было очевидно, что перед смертью с А. Дюпоном творилось что-то неладное...

## ПРО ДЕТСТВО

Сразу же нужно сказать, что про детство я ни черта не помню. Вернее, не то чтобы совсем ни черта, но воспоминания мои вследствие прихотливого устройства заключающего их в себе тела и обостренного равнодушия моих нервных окончаний к окружающему миру настолько иррегулярны и непостоянны, что утверждение это почти соответствует истине. Я не помню, например, как я начал ходить и закончил ползать, не помню, как в два года упал с дивана вниз головой и как в четыре отнял у не понравившегося мне мальчика понравившуюся машинку. В моей голове совершенно не осталось воспоминаний о том, как я пошел в школу, кому и какие цветы дарил на линейке, какое первое матерное слово написал на парте и чьему портрету в учебнике первому подрисовал усы, бороду и фингал под глазом. Более того, я даже не помню, какая сволочь во втором классе нажаловалась на меня за то, что я, как все приличные люди, мыл доску шваброй. Не помню даже, мыл ли я доску шваброй, жаловался кто-нибудь вообще и не был ли я сам этой сволочью. Все эти события, воспоминания о которых доставляют обычно радость, изъяснимую, пожалуй, только на ангелическом языке, ни на секунду не задержались в моем гиппокампе. Что совсем меня не огорчает. Позднее я узнал об этих старательно не запомненных мною происшествиях из многочисленных рассказов других людей, которые (как люди, так и рассказы) оказались все как один печальны и неинтересны.

Зато в моей памяти совершенно магическим образом запечатлелось все, так или иначе, прямо или косвенно, непосредственно или опосредованно касающееся ... Ленина...

Первыми моими детскими воспоминаниями были, поэтому, не прогулки по саду, не погремушки, не кубики и тому подобная сентиментальная дребедень, а книга с рассказами о Ленине, на которую я, к неопишуемому ужасу моих родителей, нечаянно наткнулся, ползая среди стопок старых газет и журналов, стоявших в коридоре. Произошло это в теплый апрельский день, когда толпы вышедших из зимней спячки пионеров бродили по городу в поисках макулатуры, а их старшие товарищи лазили по столбам и развешивали красные перетяжки, на которых белыми буквами сообщалось о том, что Ле-

нин еще не совсем умер. Товарищи с перетяжками были вполне себе ничего, а вот пионеров мои родители не без основания побаивались и поэтому уже в начале апреля заготавливали для них огромную кучу бумаги, которая должна была полностью удовлетворить макулатурные нужды ленинчат. Для достижения необходимых объемов из домашней библиотеки изымались не только все номера «Крестьянки», «Работницы» и «Огонька» за прошлый год, но и вещи более ценные. Так, еще в бессознательном возрасте я лишился возможности насладиться романом Ф. Гладкова «Цемент», а его же роман «Головоногий человек» канул в лету до моего рождения. Я мог бы намного раньше познакомиться с героями романа «Танки» незабвенного Ю. Алексеева или с «Парнем из колхоза» Н. Бесстрашного, однако все это было утащено проклятыми пионерами. Когда мои родители (люди страшно легкомысленные в идеологическом плане) решили сдать пионерам и рассказы о Ленине, мое сознание выплыло, наконец, из темноты небытия, в котором до сих пор довольно комфортно пребывало, и выразило решительный протест против бездумного уничтожения культурных ценностей. Я вцепился в «рассказы» и не отпускал их до тех пор, пока не кончился страшный месяц нисан, а вместе с ним и сбор макулатуры. Только накануне майских праздников я согласился, наконец, разжать свои еще ни на что не годящиеся ручки и поменять «рассказы» на погремушки. Однако дней, проведенных с книжкой о Ленине, хватило для того, чтобы все остальное в этом мире перестало что-либо значить для меня.

«Рассказы» стали моей любимой книжкой. Я отказывался засыпать, не услышав очередную историю про Ильича, не ходил без «рассказов» в детский сад, а перед едой вместе со своей религиозной теткой, имевшей обыкновение бормотать благодарственную молитву, мурлыкал какой-нибудь стишок или песенку про Ленина. Когда мне пытались читать что-то там про Машу и медведей или про сумасшедшую курочку Рябу, я закатывал истерику и требовал рассказ про общество чистых тарелок; я нарочно спрятал басни Крылова, которые в моих глазах не шли ни в какое сравнение с рассказом про Володю и графин, и изорвал в клочья Мойдодыра, Тараканище и Дядю Степу. Рассказы об оживших раковинах, радиоактивных насекомых и людях с нарушенной работой гипофиза не стоили, с моей точки зрения, и запятой из разговора Ленина с печником. Я собственноручно подсыпал стрихнин в оливье тете



Ане, которой вздумалось подарить мне на мой пятый день рождения книжку про Буратино, и собственно же ручно накормил ее пятилетнюю дочку, вручившую мне книжку про Кота в сапогах, этой самой книжкой. И хотя всего этого не было (потому что никакой тети Ани, а равно и ее дочери, я не помню), одно могу сказать точно: к пяти годам я избавился от всех книжек не про Ленина и отбил у всех тетю, как бы их там не звали, и у их дочек всякое желание дарить мне подобные книжки. Рассказы о Ленине стали моей Библией. «Общество чистых тарелок», «Графин», «Ленин и жандармы» и «Чернильница из хлеба» заменяли мне Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна соответственно. Стихотворение про Ленина и печника было моим Апокалипсисом.

Когда я пошел в школу, к этим первоисточникам добавились еще многочисленные комментарии и апокрифы в виде текстов о Ленине из букваря и из книги для чтения. Кроме того, классе примерно во втором я впервые увидел рассказы о Ленине на немецком языке, и, хотя я не был сторонником перевода священного писания на варварские языки, мне пришлось смириться с этой ересью и прочитать через силу несколько строчек вслух. К третьему классу я стал настолько искусен в ленинской экзегетике, что мог, например, нисколько не колеблясь и почти не раздумывая, дать любому рассказу про Ленина анагогическую, моральную или аллегорическую интерпретацию, а потом плюнуть на все эти интерпретации и истолковать все в буквальном смысле. Я утверждал и до сих пор утверждаю, что чернильница из хлеба в одноименном рассказе, которую Ильич с аппетитом съедал во время появления надзирателей, не что иное, как прообраз и даже, в некотором смысле, провозвестник супа из «Общества чистых тарелок», который дети поедали теперь уже при появлении самого Ильича, а рыба, которую ему пытались подарить, когда все вокруг подышали с голодухи, сделана из цветочной пыльцы пчелами, за которыми Ленин бегал в рассказе «Ленин и пчелы». У меня были самые различные предположения насчет того, кем на самом деле был печник из стихотворения Твардовского, одно я мог сказать наверняка, что он точно был не тем за кого себя выдавал. В его бородке мне чудились то коварные черты Фанни Каплан, то перманентная революция, то восьмой съезд РСДРП.

Именно тогда, в момент расцвета всех моих герменевтических способностей, со мной случился жесточайший духовный кризис.

Однажды в середине третьего класса я вдруг понял, что для правдоверного октябреника не нужны буквари и книги для чтения. Никакие красные уголки, звездочки, красное сукно на столе в преподавательской, бюсты и портреты Ленина, учителя со своим превратными интерпретациями не помогут достичь просветления, для которого, как я теперь понимал, нужны только сами священные тексты, т.е. рассказы Зощенко, Бонч-Бруевича и стихотворение Твардовского, которые нужно читать каждый день перед выходом из дома, перед обедом и сном. Это озарение снизошло на меня, когда я стоял на линейке, посвященной очередной годовщине октября, а уже к вечеру того же дня протестантско-октябрятская доктрина была запротоколирована в 44 тезисах (их было примерно в два раза больше, чем у Ленина и в два раза меньше, чем у Лютера). Реформация была намечена на следующий день. Тезисы я намеревался приклеить канцелярским клеем к кабинету директора, завуча, учительской, столовой и спортивному залу. Всю ночь я не спал, а на следующий день покрылся кроваво-красными пролетарскими пятнами, явно не поддерживавшими мое учение. Кроме того, у меня поднялась температура, и на семейном консилиуме было решено оставить меня дома, чему в первый раз в жизни я глубоко огорчился. В последующие несколько дней меня обильно поили молоком с медом и отваром из ноготков, и я вернулся в лоно истинной октябратии.

Хотя какие-то еретические поползновения во мне остались. Более того, они всегда были. В первом классе я серьезно намеревался стать Лениным. Я не представлял себе технических подробностей этого превращения: должен ли в меня вселиться дух Ленина, или я стану подобным Ленину, или мы вдвоем будем Лениными, и кто из нас будет Ленин-отец, а кто Ленин-сын, и будет ли Ленин-святой дух, и какую роль будут играть Надежда Константиновна Крупская и печник — обо всем об этом я не думал. У меня даже была, признаюсь, кощунственная мысль втайне от родителей сесть на поезд, приехать в Москву, под покровом ночи пробраться в мавзолей и съесть кусочек Ленина: пальчик, нос или хотя б кепку или галстук. Это могло бы, как мне казалось, поспособствовать моему превращению в Ленина. Однако потом я узнал от одного подозрительно голубоглазого мальчика, что Ленин заключен в пуленепробиваемый железобетонный саркофаг. О том, что такое саркофаг я не имел никакого представления, но о железобетонности и пуленепробиваемости знал не понаслышке.

Никакие другие слова не выручали меня так часто, как эти. Когда на переменах мы принимались играть в сифака, достаточно было сказать: «Я в пуленепробиваемом железобетонном домике», — и никакая сволочь, сколько бы она ни кидалась в тебя грязной мокрой тряпкой, не могла превратить тебя в сифу. Поэтому саркофаг, обладающий такой защитой, был для меня совершенно недоступен. Впрочем, я не терял надежды и, когда мы с родителями как-то проходили мимо памятника Ленину, осторожно поинтересовался у них, что нужно сделать, чтобы стать таким, как Ленин. После некоторого раздумья, мне сказали, что нужно знать все буквы. В школе мы уже выучили какие-то буквы, однако в букваре их оставалось еще так много, что вся затея нашей учительницы обучить нас всем тридцати трем буквам казалась мне чистой воды авантюрой и шарлатанством. Некоторое время я раздумывал над советом родителей, прикидывал, что бы на моем месте сделал Ленин, пока, наконец, в одну из холодных осенних ночей чей-то голос, кокетливо грассируя и гнусая, не сказал мне: «Учи буквы, скотина». Мои сомнения сразу же исчезли, и я принялся за дело. Я провел три бессонных ночи, постигая это сакральное знание. К вечеру 6 ноября, когда весь алфавит был вызубрен, я начал готовиться к превращению в Ленина. Я надел свои лучшие шорты, свою лучшую рубашку с микки-маусами, прижал к груди пистолет с пистонами, к животу — заводную машинку, сел на крутящийся диск, зажмурил глаза и стал ждать, когда наступит 7 ноября, — уж в этот-то день я наверняка должен был превратиться в Ленина. Вокруг все торжественно стихло, раздался бой часов. Первый, второй, третий удар... Через пять минут я открыл глаза и посмотрелся в зеркало. Ничего не произошло. Не появилось ни бородки, ни кепки, ни жилетки. Глаза не сужались в лукавом прищуре, а рука не тянулась показывать верную дорогу в светлое будущее. Я был раздавлен и совершенно уничтожен. Родители меня обманули. Родители меня жестоко обманули. Просто так. Необъяснимо и жестоко. Ленин им судья.

Когда мне стало ясно, что превращение в Ленина недоступно простым смертным, вроде меня, я загорелся новой идеей. Если стать Лениным нереально, то можно хотя бы максимально приблизиться к нему духовно, пройдя долгий путь по партийной лестнице от октябрёнка до той непонятной должности, которую занимал Ленин.

В день посвящения в октябрята не было человека, счастливее меня. Звездочку должны были прикалывать ученики старших

классов. Однако тот, которого приставили ко мне, был настолько медлителен, а я так мечтал побыстрее вступить на славное поприще, что от нетерпения вырвал у него звездочку и сам себе ее прицепил. Я чуть не сорвал у этого болвана с шеи галстук и не повязал себе. Слова клятвы все должны были произносить хором. Только не я. Пока вся эта неповоротливая звукомасса дошла до конца первой фразы («Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь...») я уже поспешно договаривал: как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия Советского Союза. Я едва достоял до конца всего этого действия, а потом, спеша сообщить радостную весть о превращении в октябренька своим родителям, чуть не вывалился из окна четвертого этажа, случайно перепутав его с выходом из школы.

К концу второго класса духовно я уже перерос октябрютию с пионерией. По партийно-идеологическому развитию я был уже комсомольцем. Не меньше. Оставалось только подождать, когда мой физический возраст будет соответствовать моему идеологическому развитию. И я ждал. Тогда же, во втором классе случилось событие, благодаря которому ничем не приметный член звездочки, коим я являлся, (я был библиотекарем) вознесся на самую вершину октябрятской партийной машины и стал командиром класса, минуя промежуточную должность командира звездочки. Дело было так. Однажды на перемене после обеда класса третьеклашки затеяли игру в футбол. Играли они очень активно и постепенно переместились в наш класс. Мячом им служил кусок хлеба, спертый из столовой. Учителя не было, и никто из моих идеологически простодушных товарищей, да и играющих, не понимал, что происходит. Если б они играли куском колбасы, сыром, банкой черной икры, то это было бы не так страшно, но играть хлебом, о котором то и дело упоминалось в рассказах о Ленине, было настоящим кощунством. В рассказах, конечно, нигде прямо не говорится, что играть хлебом в футбол запрещено, однако это прямо следует из них, так же как из мысли о существовании Бога следует с неперменной необходимостью это самое существование или как из утверждения о равенстве сторон двух треугольников следует, что и углы у них равны или... Ну, в общем, следует. И, более того, является утверждением необходимым и всеобщим, т.е. распространяется на все куски хлеба и на всех учеников третьих классов, при каких бы погодных условиях они не затеяли

игру в футбол. Вряд ли я так отчетливо осознавал, какие последствия для моей карьеры будет иметь этот поступок, и уж тем более я не думал спасти футболистов от замечаний в дневниках и вызовов родителей в школу. Тем не менее, я решил остановить игру и отнять у этих святотатцев хлеб. Надо сказать, что второклассник, пытающийся помешать игре третьеклассников, выглядит, как муравей, нападающий на стадо слонов, или как амеба, пытающаяся целиком заглотить грузовик с арбузами. Т.е., другими словами, смерть в подобных случаях бывает быстрой и легкой. Улучив момент, я прыгнул на маленький, почти мертвый кусочек хлеба, закрыл его своим хилым тельцем учащегося второго класса и приготовился умереть под ударами разъяренных слонов. Но тут что-то случилось. Возможно, на игроков сошел дух Ленина, и они все поняли, или им внезапно надоело играть, но они отошли от меня, и я так и не получил ни одного удара. Когда я поднял голову, то увидел, что в дверях стоит наша учительница, спешно дожевывая свой обед, а из-за ее спины выглядывает толстая очкастая Тоня, которую за ее яркие стукаческие способности, прозывали Каплей. Таким образом, подвиг мой стал известен всей школе, и на ближайшем классном собрании я был единогласно избран командиром класса.

Мне кажется, я мог бы стать идеальным комсомольцем. Я был бы гением комсомола. Я бы обличал, проводил работу, доводил до сведения, возмущался, громил с трибуны, искоренял, беспощадно боролся, зорко следил, преследовал различные проявления, вырывал с корнем, предотвращал и выявлял, пресекал, принимал меры, проводил линию, вставал на защиту грудью, я б даже делал что-нибудь новое, например, неистовствовал и завывал или бросался и хватал. Слава ожидала меня. Однако ничего не вышло. Я даже не стал пионером. Когда очередные летние каникулы подходили к концу, и я был в предвкушении пятого класса и заветного галстука, по телевизору показали «Лебединое озеро», и мои мечты рухнули. Первого сентября, когда я пришел в школу и увидел, что из красного уголка убрали заветный бюстик, снимали к чертовой матери красные флаги и утащили из библиотеки все 55 томов собрания сочинений Ленина, на которые я уже давно облизывался, я понял, что моя комсомольская карьера завершилась, не успев начаться.

Моему горю не было предела. Десять дней я был на грани между жизнью и смертью. В иступленном бреду я бормотал: «Ленин жив,

Ленин мертв, клянусь партией Советского Союза, Ленин жив, Ленин мертв». Три раза в день мне читали рассказы про Ленина и «Разговор с печником». Однако это не помогало. Бред усиливался, и силы покидали мое недопионерское тело. К счастью, на восьмой день мой дед откопал где-то уставные документы недавно образовавшейся КП РСФСР, и мне немного полегчало.

Некоторое время после этого я грустно и растерянно бродил по своей комнате, натываясь то на ранец, то на сложенные аккуратной стопкой учебники. Так же как люди, которым ампутировали ногу, продолжают ее чувствовать и могут, например, сказать, что она онемела или болит, я еще некоторое время чувствовал металлический холод октябрятской звездочки, словно она была приколота не к лацкану пиджака, а к голой груди. Более того, иногда я даже чувствовал нежное прикосновение пионерского галстука, которого у меня никогда не было, как если бы человек с двумя ногами вдруг начал чувствовать третью. Все это продолжалось до конца средней школы, а потом исчезло... Почти... Потому что и сейчас в полнолуние я еще иногда смотрю на небо, и так же, как вкус мадленок напоминает Прусту о Комбре и о детстве, холод далеких звезд напоминает мне о Ленине и о несбывшихся детских мечтах. Сердце мое сжимается от боли, и я начинаю плакать почти навзрыд, сотрясаясь своим большим прекрасным белым телом.

